

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
БРАТЯ
КАРАМАЗОВЫ

РОМАН
В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ
С ЭПИЛОГОМ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

БРАТЯ

КАРАМАЗОВЫ

РОМАН
В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ
С ЭПИЛОГОМ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

P1
Д70

Текст печатается по изданию:
Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч.
в 30-ти томах, т. 14, 15. Л., «Наука», 1976

Примечания
В. ВЕТЛОВСКОЙ

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Д $\frac{4702010100-024}{028(01)-85}$ 14-85

© Примечания, оформление.
Издательство «Художественная
литература», 1985 г.

*Посвящается
Анне Григорьевне Достоевской*

Истинно, истинно говорю вам: если
пшеничное зерно, падши в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет,
то принесет много плода.

Евангелие от Иоанна. гл. XII, ст. 24.

ОТ АВТОРА

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?

Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: «Может быть, увидите сами из романа». Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: «Не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь напыльным ветром, на время почему-то от него оторвались...

Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия: понравится — так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение: если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то какво же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость?

Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности:

тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, заранее в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа «при существенном единстве целого»: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй? Конечно, никто ничем не связан; можно бросить книгу и с двух страниц первого рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более. Но ведь есть такие delicate читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспристрастном суждении; таковы, например, все русские критики. Так вот перед такими-то все-таки сердцу легче: несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и всё предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется.

А теперь к делу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Книга первая

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЕЙКИ

I

ФЕДОР ПАВЛОВИЧ КАРАМАЗОВ

Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом «помещике» (как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье) лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, — но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глушость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, — а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.

Он был женат два раза, и у него было три сына: старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и, сверх того, из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появившихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного «мозгляка», как все его тогда называли, объяснить слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом «романтическом» поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда

могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был без сомнения отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насменливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи, тогда как он был только злой шут, и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру хотя чем бы то ни было; прижаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было — ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красоту Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления.

Аделаида Ивановна, тотчас же после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего. Таким образом, следствие брака обозначилось с чрезвычайною быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревенську же и довольно хороший городской дом, которые тоже вошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя чрез совершение какого-нибудь подходящего акта и наверно бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвызался. Но, к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило ханугу. Положительно известно, что между супругами происходили передние драки, но, по преданию, бил не Федор Павлович, а была Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физическою силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погребанным от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах сажал чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою сминную роль обиженного супруга и с прикрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы

довольны, несмотря на всю вашу горестъ», — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что парочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть слѣды своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербургѣ, куда перебралась с своим семинаристом и где беззавѣтно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захопотал и стал собираться в Петербург, — для чего? — он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал; но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном правѣ, для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги случилось известіе о смерти ея в Петербургѣ. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по однимъ сказаніям — от тифа, а по другимъ — будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ниле отпущени!» а по другимъ — плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на всё к нему отвращеніе. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть что и радовался он своему освобожденію, и плакал по освободительнице — всё вместе. В большинствѣ случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже.

II

ПЕРВОГО СЫНА СПРОВАДИЛ

Конечно, можно представить себѣ, какимъ воспитателем и отцом могъ быть такой человек. С ним как с отцомъ именно случилось то, что должно было случиться, то есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобѣ к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружескихъ чувствъ, а просто потому, что забыл о немъ совершенно. Пока он докучал всемъ своими слезами и жалобами, а домъ свой обратил в развратный вертеп, трехлѣтнего мальчика Митю взял на свое попеченіе верный слуга этого дома Григорій, и не позаботясь он тогда о нем, то, может быть, на ребенкѣ некому было бы переменить рубашонку. Къ тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о немъ в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живыхъ; овдовѣвшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишкомъ расхворалась, сестры же повышли замуж, такъ что почти целый годъ пришлось Митѣ пробывать у слуги Григорія и проживать у него в дворовой избѣ. Впрочем, если бы папаша о немъ и вспомнил (не могъ же онъ в самомъ дѣлѣ не знать о его существованіи), то и самъ сослал бы его опять в избу, такъ какъ ребенокъ всё же мешалъ бы ему в его дебоширствѣ. Но случилось такъ, что изъ Парижа вернулся двоюродный братъ покойной Аделаиды Ивановны, Петръ Александровичъ Миусов, многие годы сряду выжившій потомъ за границей, тогда же еще очень молодой человекъ, но человекъ особенный между Миусовыми, просвѣщенный, столичный, заграничный и притомъ всю жизнь свою евреецъ, а подъ конецъ жизни либералъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ. В продолженіе своей карьеры онъ перебивалъ в связяхъ со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в Россіи и за границей, знавалъ лично и Прудона и Бакунина и особенно любилъ вспоминать и рассказывать, уже подъ концомъ своихъ странствій, о трехъ дняхъ февральской парижской революціи сорокъ восьмого года, намекая, что чуть ли и самъ онъ не былъ в ней участникомъ на баррикадахъ. Это было одно изъ самыхъ отраднѣйшихъ воспоминаній его молодости. Имелъ онъ состояніе независимое, по прежней пропорціи около тысячи душъ. Превосходное именіе его находилось сейчасъ же на выѣздѣ изъ нашего городка и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которымъ Петръ Александровичъ, еще в самыхъ молодыхъ лѣтахъ, какъ только получилъ

наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с «клери-калами» почел даже своею гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав всё про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на всё молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал, в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то всё же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой ипогды надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям, и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу. Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был (кунно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что всё же после матери оставалось имение — дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Случилось так, что, обжившись в Париже, и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла, и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых мне и романа начать невозможно.

Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он всё же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидел в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имуществва. Кажется, родитель ему и тогда не понравился; пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого (факт достопримечательный) ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда, с первого разу (и это надо запомнить), что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделяваться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже день-

гамя всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть еще даже сам должен ему; что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и проч., и проч. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону. Но, пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-те взидись.

III

ВТОРОЙ БРАК И ВТОРЫЕ ДЕТИ

Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелко-подрядному делу, с каким-то жидком в компании. Федор Павлович хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато. Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, выросшая в богатом доме своей благотельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши-старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, — до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой, старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности. Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей. Но дело было в другой губернии; да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благотельницы. Так и променяла бедняжка благотельницу на благодетеля. Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и, сверх того, прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного любителя лишь грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули» — говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем, у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился, и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним «виновата» и что он ее почти «с петли снял», пользуясь, кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрали ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины, и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глухой и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганною молодою женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой болезни, со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок. Ро-

дила она, однако же, Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, — как сквозь сон разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и заброшены отцом и попали всё к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха самодурка генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и всё время, все восемь лет, не могла забыть обиды, ей нанесенной. О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения и, слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей бог за неблагодарность послал».

Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала. Был тогда час вечерний. Федор Павлович, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидела его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объяснила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей «за сирот бог заплатит». «А все-таки ты балбес!» — крикнула ему генеральша, отбегая. Федор Павлович, сообразив всё дело, нашел, что оно дело хорошее и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу.

Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив, однако, в завещании обоим малюткам по тысяче рублей каждому «на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошелится», и проч., и проч. Я завещания сам не читал, но слышал, что именно было что-то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался, однако же, честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии Ефим Петрович Поленов. Списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытатишь (хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в этаких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях), он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. И если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он сохранил малюткам по их тысяче, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги и уж, конечно, гораздо более, чем по тысяче, издержал на каждого. В подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно, и проч., и проч. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по крайней мере),

стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не тринадцати лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что всё произошло, так сказать, от «пылкости к добрым делам» Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем, ни Ефима Петровича, ни гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился и получение завещанных самодуркой генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на две проценты, замедлилось по разным совершенно неизбежным у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был всё это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, — может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях, за подписью «Очевидец». Статейки эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход, и уж в этом одном молодой человек оказал всё свое практическое и умственное превосходство над тою многочисленною, вечно нуждающеюся и несчастною частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая в столицах, по обыкновению, с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович всё время потом не разрывал связей с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем, лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и приготавливаясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и неспециалистов, и, главное, по предмету, по видимому, вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые драгдивые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминаю о сем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, — проникла и произвела совершенное недоумение. Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын «вот этого самого Федора Павловича». А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор.

Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович, — я, помню, даже и тогда еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокоеством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом, почти всегда, оставался делом неясным. Вообще судя, стран-

но было, что молодой человек, столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил, и хоть не дал бы, конечно, денег ни за что и ни в каком случае, если бы сын у него попросил, но всё же всю жизнь боялся, что и сыновья, Иван и Алексей, тоже когда-нибудь придут да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас, в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренних боли шкировался иногда познаниями. «Он горд,— говорил он нам тогда про него,— всегда добудет себе копейку, у него и теперь есть деньги на границу — чего ж ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились!» Это была правда; молодой человек имел даже видимое влияние на старика; тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен; даже вести себя начал иногда приличнее...

Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата, Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидел тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым, однако же, по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович всё казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым.

Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем.

Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидели друг друга. Лишь один только младший сын, Алексей Федорович, уже с год пред тем как проживал у нас и попал к нам, таким образом, раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт, именно: будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника. Да, уже с год как проживал он тогда в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться.

IV

ТРЕТИЙ СЫН АЛЕША

Было ему тогда всего двадцать лет (брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату, Дмитрию,— двадцать восьмой). Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рваншейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он

встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо — нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень страшен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, «точно как будто она стоит предо мной живая». Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его кренко до боли и молящую за него богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров богородице... и вдруг вбегает пьянка и вырывает его у нее в испуге. Вот картина! Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери: он говорил, что оно было иступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простычком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он всё допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустил. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Являсь по двадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший («много, дескать, молчит и много про себя рассуждает»), скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее как через две какие-нибудь недели, правда с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить...

Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, в каких никак нельзя ожидать в ребенке расчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, уметь заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе, и, однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и, однако же, и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во всё время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от ка-

кой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся, между тем мальчишки тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал ее за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, иступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин. Эти «известные» слова и разговоры, к несчастью, нескороенимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчишки, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Правственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что «Аленка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и всё это не говоря ни слова, не браясь, молча перенося обиду. Под конец, однако, оставили его в покое и уже не дразнили «девчонкой», мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших, но никогда не был отмечен первым.

Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича, почти тотчас же по смерти его, отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим всё из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях, он сам того не знал. Характерная тоже, и даже очень, черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату, Ивану Федоровичу, пробедствовавшему два первые года в университете, кормя себя своим трудом, и с самого детства горько почувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей вроде как бы юродивых, которому упади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу, или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Мпусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии, приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм: «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему ни-

каких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а может быть, напротив, почтут за удовольствие».

В гимназии своей он курса не кончил; ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы — подарок семейства благодетеля пред отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первые расспросы родителей: «Зачем именно пожаловал, не dokonчив курса?» — прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по-обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что и затем только и приехал. Но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить: что именно такое как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда не бывал на ее могиле, после того как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамätовал, где ее тогда хоронили...

К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, «со многими жидками, жидками, жидишками и жиденятами», а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но «и у евреев был принят». Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньги. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте — других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. Вскорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, тысяч до ста или разве немногим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали, под вернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и всё чаще и чаще напивался пьян, и если бы не всё тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его: «Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на кликушу-то?» Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку «кликуши» указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной «кликуши» и на собственное иждивение, после того когда Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал наконец в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности; он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении пли-

ты, постоял понурившись и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть даже во весь год, и не бывал на кладбище. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие, и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не «кликуши», а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. Вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеше монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей; человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Станные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывають у этаких субъектов.

Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающеюся горбиной: «Настоящий римский, — говорил он, — вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Этим он, кажется, гордился.

И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его и что испрашивает он у него торжественное позволение как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его «тихого мальчика» особенное впечатление.

— Этот старец, конечно, у них самый честный монах, — промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. — Гм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик! — Он был вполъяна и вдруг улыбнулся своею длинною, полуъяною, но не лишнюю хитрости и пьяного лукавства улыбкою. — Гм, а ведь я так и почувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь, можешь это себе представить? Ты именно туда поровил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тыщоночки, вот тебе и приданое, а я тебя, мой ангел, никогда не оставлю, да и теперь внесу за тебя что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, к чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег, что канарейка, тратишь, по два зернышка в недельку... Гм. Знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только «монастырские жены» живут, так их там называют, штук тридцать жен, я думаю... Я там был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный, французенок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные. Проведают — приедут. Ну, а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук двести. Честно. Постышки. Сознаюсь... Гм. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил... Впрочем, вот и удобный случай: помолишься за нас, грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрелись. Я всё помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а всё думаю, всё думаю, изредка, разумеется, не всё же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючками позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например,